

Андрей
БИНЕВ

ПРЕТЕНДЕНТ НА БУКЕРОВСКУЮ ПРЕМИЮ

Андрей
БИНЕВ

ТИХИЙ СОЛДАТ



ЭКМО

МОСКВА 2013

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б 62

Бинев А.

Б 62 Тихий солдат / Андрей Бинев. — М. : Эксмо, 2013. — 720 с. — (Претендент на Букеровскую премию).

ISBN 978-5-699-67408-4

«Тихий солдат» Андрея Бинева — масштабный и мощный роман-эпопея, достойный того, чтобы стоять в одном ряду с лучшими произведениями отечественных классиков: Михаила Шолохова, Константина Симонова и Василия Гроссмана. Действие романа разворачивается в 1935 — 1965 годах. Восемнадцатилетний Павел Тарасов, спасаясь от нищеты и безысходности, сбегает из родной деревни и отправляется искать лучшей доли. Впереди армия, служба в личной охране Буденного, «партийные чистки», Великая Отечественная война — вся жизнь, в которой будет много светлого и доброго, но больше омерзительного, мучительного и страшного...

Андрей Бинев на примере судьбы простого человека, «тихого солдата», показал судьбу огромной страны и сделал это невероятно мастерски — в произведении читатель не найдет ни одной фальшивой ноты.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-67408-4

© Бинев А., 2013
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2013

*Скромным солдатам,
которые всегда были единственным
безмолвным средством
для достижения великих целей,
посвящается*

Распятые рабы — это тихие часовые на
вечной дороге цезарей.

Baron Eduard von Acheberg

Война показала, как мало стоит жизнь,
а победа — как дорого стоит ничтожество.

*Полковник контрразведки
Герасимов*

ПРОЛОГ

Павел стремительно сунул руку в карман бриджей и по привычке точно попал пальцами в гладкие кольца трофейного немецкого кастета. Рука знала все самые мелкие детали жестокого инструмента. Сердце зашлось от притаившейся в кастете звериной силы смерти и от горячего предчувствия страшной беды. Кулак инстинктивно сжался, и обтекаемый упор изящной стойки кастета тяжело и призывно впился в сухие подушечки ладони.

Майор МГБ, крепко сжимая его плечо, быстро отвернулся и потянул руку к крану, откуда звонкой струйкой бежала вода. Он обхватил тонкими пальцами белый керамический вентиль и ловко закрутил его. Когда майор рывком повернул голову к Павлу и когда знакомая до боли темно-синяя родинка величиной с горошину нежно и доверчиво, словно спящая бархатная мушка, очень близко затемнела на его бледном виске, Павел с выдохом выдернул руку из кармана и коротко, метко саданул кастетом в ту самую мушку, что много раз видел во сне.

Голова майора дернулась почему-то навстречу кулаку, а не от него. Висок с родинкой беззвучно провалился внутрь, и из мгновенно образовавшейся глубокой ссадины стрельнуло густой черной кровью. Глаза майора закатились под лоб, и он тяжело рухнул на каменный пол.

Павел отступил на шаг, оглянулся. В уборную никто так и не вошел. В высокое прямоугольное окошко весело, по-весеннему стреляли легкие лучики утреннего солнца. Он медленно присел над безжизненным телом майора и почему-то сразу поискал глазами нежную родинку. Но ее уже не было видно под вязкой, све-

жей кровью. Майор тихо лежал лицом вниз, раскинув в стороны руки с тонкими длинными кистями и музыкальными пальцами. Челка свисала со лба, свежестриженные по последней моде волосы легко и беззаботно шевелились от ветерка, пробивающегося из-под двери уборной.

На открытую узкую форточку почти под потолком уселся худой московский воробей и острым любопытным глазом покосился на Павла. Павел испуганно вскинул голову. Их стремительные взгляды, сильного еще молодого человека в особенной, франтоватого покроя, сержантской форме, и мелкой птахи из плебейского рода городских крохоборов встретились. Воробей опасно вздрогнул и тут же вспорхнул — полетел собирать свои жалкие крохи.

«Надо уходить как можно скорее», — пронеслось в голове у Павла.

Он будто очнулся, увидев воробья. Сейчас зайдет кто-нибудь из арсенального караула, свободного от службы, и все будет кончено. Павел резко выпрямился, развернулся на месте, шаркнув хромовыми офицерскими сапогами по плитке, и, не оглядываясь, решительно шагнул к выходу. Уже под витым козырьком уборной, овеянный свежим ветерком, он вспомнил, что продолжает сжимать в ладони кастет. Попытался сунуть руку с кастетом в карман, но от волнения промахнулся, и один из жестких углов зацепил край материи галифе. Послышался легкий треск. Павел повторно пихнул руку с кастетом в карман и, наконец, скинул его там. Рука была влажная от пота. Павел растерянно посмотрел на ладонь и торопливо обтер ее о бриджи.

— Я обязан, обязан, я обещал, — шептал он, быстро приближаясь к посту.

Павел шел к последнему удару в эту нежную родинку долгие годы. Теперь дело сделано, завершено. В душе царила ужасающая пустота, любая мысль, даже самая короткая, отзывалась гулким звоном. Из приоткрытого окошка караулки, из радиоточки, буднично вилась легкая, веселая песенка.

Шел апрель 1948 года, теплый, свежий.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОМАНДАРМ

1935—1943 гг.

Глава 1

Волки на дороге

Из Лыкино он уходил поздней свинцовой ночью под жалобный, бессильный плач матери и попискивание младшей сестры.

Снег давно сошел, но черная, прохладная еще земля так густо пропиталась талой водой, что та стояла небольшими черными прудиками вдоль размытой, ухабистой дороги. Телеги вязли в прошлогодней колее по самую ось, а недокормленные лошади натужно храпели, вытаскивая их из глубоких заболоченных рытвин и бездонных ям, где мог бы захлебнуться даже семилетний ребенок.

Никто, ни за какие посулы, увещевания и клятвы прислать к лету богатых гостинцев не согласился везти Пашку за семь верст к станции, и он, ожесточенно махнув на все рукой и, забросив за спину полупустой сидор, побрел пешком. Сапоги промокли сразу, как он вышел за околицу, и теперь противно чавкали в ледяной воде. Но Павел упрямо двигался на северо-восток, к станции, угадывая путь лишь по знакомым очертаниям холмов и редких, темных теперь, рощиц. Дорога местами так сливалась с почерневшим полем, что он останавливался и долго, мучительно всматривался в кромешную тьму горизонта, ожидая недолгого света от рожка месяца, выскальзывающего время от времени из-за низких свинцовых туч.

Теперь, лежа в жаркой казарме окружной школы младшего начсостава, он с содроганием вспоминал ту долгую и мучительную дорогу к станции. Волков, которыми всегда кишели тамбовские степи, Павел не боялся. Он знал: хищники нипочем не решатся выйти на охоту за человеком в такое ненастье, потому что сами

утопнут в озерах, разлившихся по земле после такой небывало снежной зимы. Им не под силу такая далекая охота. Да и передохли серые целыми стаями из-за лютых морозов и многомесячного голода. Он сам видел днями две воняющие худые волчьи туши на опушке оттаивающей поздней весной березовой рощицы.

Лишь к рассвету впереди замаячил единственный огонек станции. Павел, задыхаясь и страдая от промерзших насквозь, до полного бесчувствия, пальцев ног, даже ускорил шаг. Хотелось поскорее попасть в деревянный протопленный дом, считавшийся важной станционной вехой местной узкоколейки. Станция Прудова Головня была единственным связующим звеном с остальной земной цивилизацией. Пять часов чуханья дымной, душной «кукушки» по разболтанной, местами даже ржавой «железке», и вот тебе дальние пригороды большого и светлого, как ему тогда казалось, города Тамбова.

Теперь же, в ночной тиши казармы, в самом теплом и уютном ее углу, он усмехался тому, как наивно и слепо понимал городское явление цивилизации и каким далеким это оказалось от истинных ее примет.

«Кукушка» тронулась лишь часам к одиннадцати утра, потянув два темных деревянных вагона, из которых лишь один отапливался прогоревшей «буржуйкой». В него торопливо залезли семеро нищих, мрачных сельчан из Куликово, двое худосочных волынцев и трое бородатых бродяг, пьяных, грязных и злых, бог знает каким образом попавших в эти голодные и скудные нынче степи.

В дороге бродяги стали резаться в карты под свечным огарком на перевернутом ящике, орать, материться без удержу, хватать друг друга за бороды, за грязную рвань, которую уже и одеждой-то назвать было нельзя. В конце концов, самый старший, худой и крикливый выхватил сапожный нож и кинулся на волынца, который жаловался гнусаво односельчанину, как у них, у единственных в степной Волыни, отобрали последнюю слепую курицу да хромого петуха, и теперь только собака одна осталась из домашней живности, да и та тощее его самого.

Нож опасно скользнул по плечу, чуть не распоров тонкую морщинистую шею волынца. Мужик сжался, а глаза распахнулись так, что только они и остались на изумленном лице. Рот упрятался в глубокой морщине между крошечным остреньким

подбородком и свернутым набок неприметным носом. Из вспоротого рукава брызнула хилой струйкой кровь, вольнец слабо вскрикнул. Пассажиры ахнули и метнулись кто куда. Бродяга, взревев по-звериному, вновь взмахнул рукой с торчащим из кулака косым лезвием ножа, но тут же замер, точно окаменел. Перед ним стоял Павел, высокого роста, с развернутой широкой грудью и мощными плечами. Глаза его смотрели строго, решительно. Вроде бы совсем молод, а как-то очень уверен в себе. Это пугало, настораживало. Не случайно же он так смел. А вдруг у него наган? А если двинет сейчас так, что голова у кого-нибудь отвалится? Вот ведь глядит как — зло и спокойно.

— Чего балуешь? — Павел отбросил сидор, грозно надвинулся на бродягу: тот казался рядом с ним немощным злобным карликом.

— Брось, — уже тише и потому даже страшнее добавил Павел. — Ну! — Он показал бродяге огромный свой кулак и потряс им в воздухе.

Двое оборванцев издевательски захихикали в сумерках вагона.

— Ладно тебе, Кукиш, — послышалось с их стороны. — Считай, отработал. Нет за тобой долга. Давай сюда, еще раскинем... вот на этого, на смелого.

— Я вам раскину, нечисть косолапая, — крикнул в темноту Павел. — А ну вышли сюда все трое... А то сейчас, жиганы, головы всем поотрываю!

Он вдруг схватил с пола что-то тяжелое и запустил им в темноту. Видимо, попал, потому что оттуда послышался сдавленный крик:

— Сдурел, битюг! Ты чего ящиками-то... Угол-то железный...

Павел размахнулся и с придыханием впечатал кулаком в пениципу мужика, который все еще стоял с сапожным ножиком перед ним. Мелькнули в воздухе ноги в стоптанных башмаках, и бродяга мгновенно исчез в темноте.

— Ладно тебе, паря, — крикнул кто-то обиженно. — Мы мирно теперь... Вот те крест.

Порезанный вольнец всю дорогу жалобно стонал, прикладывая к глубокой царапине на предплечье грязную тряпку, которую ему с явным нежеланием протянул односельчанин.

— Ох, времена, времена, — гнусавил он со слезой. — И кур отняли, и с голодухи помираем, и сеять нечего, а тут еще такое хулиганство на «железке»! Как жить, как жить...

Бродяги, похоже, задряхли в темном углу. Но Павел не решился повернуться к той стороне спиной и до конечной станции так и просидел в напряжении, прижав к себе сидор. А ведь хотел поспать в дороге, измучился ведь, отмахав семь верст по грязи.

Еще осенью, перед распутицей, до первого снега, к ним в Лыкино прискакал молодеватый помощник военкома, улыбочивый, шумный мужчина лет за тридцать. Он объезжал до зимы дальние тамбовские деревушки, оскудевшие мужчинами еще с начала двадцатых годов, и сверял путанные списки призывников. В Лыкино из всего списка на двадцать три человека обнаружилось лишь восемь юношей, остальные давно разъехались по городским стройкам, сели в тюрьму каждый за свое, а двое утопли в прошлом году в пруду — пьяными купались. Один стал тонуть, другой — его спасать, так в обнимку и пошли ко дну.

Кроме вновь учтенных юных призывников, в Лыкино трудоспособного населения вообще было мало. Многие дома стояли заколоченными и проросшими сорной травой уже лет тринадцать, а то и больше. Как похватали тогда смутьянов целыми семьями, как увезли их за Урал, под плач и стоны, а кого-то и в трибунал, так и остались их родовые гнезда без жизни. Соседи Пашки Тарасова, Куприяновы, вот так и сгинули почти все.

Павел помнил еще Куприяна Куприянова, сына Аркадия Андреевича, который был чуть старше его самого годика на два. Так тот, когда отца потащили со двора связанным и битым уже до крови, вцепился в ремень командира, что руководил бойцами, да повис на нем так, что у того ремень с треском лопнул. Куприяна приложили нагайкой, которые раньше только у казаков были, и добавили сапогом по ребрам раза два.

Отца, говорят, расстреляли в Тамбове немедленно после трибунала, в тот же день, а всех Куприяновых собрали в кучу и отвезли на станцию Прудова Головня. А там — в «кукушечку», и почухали они себе не то в сибирские топи, не то на Крайний Север к белым медведям. Их тогда многих из Лыкино в ту «кукушечку» набили, с детьми, бабами, стариками. Брошенные вещи потом приходили собирать на станцию и куликовцы, и волынцы, и даже некоторые лыкинцы, кто совсем уж без совести. Не влезли вещи в два тесных вагона, вот и погрузили в них только людей. Куда повезли, зачем, никто не говорил. И суда-то не было. Вот с

тех пор и стояли заколоченные, прогнившие, поросшие живучим сорняком дома сосланных и расстрелянных.

Население умолкло, посуровело. Дети почти не рождались, потому что мужчин не осталось — кто в Красной Армии служит, кто сидит в лагерях, кто в город сбежал от тяжких воспоминаний, а кто спился до полного посинения. Правда, попадались еще те, кому казалось, что советская власть поступает верно, потому что до нее тут имелись богачи, но было и нищее батрачество.

Не все когда-то, после барского отпуска в шестидесятых годах девятнадцатого столетия, сумели завести крепкое хозяйство, обогатиться, зажить с расчетом на многие поколения вперед. Тысячи людей так и батрачили на сотню сильных и предприимчивых. И вот что обидно: барщина была когда-то освящена богом и царем, и пусть тяжела, но все же она с их крестьянской кровью давно сжилась, а эти, новые баре, из своих, из голытьбы, кем освящены? Какой такой справедливостью?

Вот, рассуждали многие, советская власть и внесла свой почин, все по полочкам разложила: нет, мол, богатых или бедных, а есть труженики и гниды, они же — кулаки. За тружеников можно постоять, а гнид — сразу к ногтю. Однако и тут что-то случилось, что-то сразу пошло не так. Перемешались те и другие, и как будто уже новые баре пришли, да только назначенные властью, а не избранные. Эти баре уже никого не делили на тружеников и лодырей, а всех скопом считали врагами, которых нужно ободрать как липку и вывезти от земли в каменный город, а там уж точно одни пьяницы да лодыри живут.

Из крестьян стали вдруг выбиваться «в люди» уже не те, что раньше, не те, что имели везение или даже наглость, а те, кто искренне принимал новые лозунги и не собирался спросить за все обещания с новой власти о земле. Приехали учителя из города, милиционеры, чекисты и стали указывать, как жить, как все правильно понимать. Многие тут же забыли старые распри и то, что одни батрачили на других: послушали-послушали горячих атаманов и говорунов, да и восстали.

Дошли слухи, что и матросы поднялись в Кронштадте, и казаки на Дону вооружаются, и вообще народ недоволен красной властью, а Ленин с Троцким — немецкие шпионы. Командуют у них латыши да поляки с евреями, а если русские — так из уголовников, из жиганов, что еще при царе на каторге сидели. Еще и ре-